

М. Горький

**Жизнь Матвея
Кожемякина**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г71

Горький М.
Г71 Жизнь Матвея Кожемякина / М. Горький – М.: Книга по Требованию, 2021. – 326 с.

ISBN 978-5-4241-1594-3

В романе «Жизнь Матвея Кожемякина» великого русского писателя М. Горького (1868—1936) изображен мещанский мир уездной России, с большой глубиной обрисованы жизнь и быт «уездных гнезд российской косности», социальная психология и мировоззрение реакционного мещанства. В романе отразилось брожение, охватившее под влиянием революции даже отсталые слои общества.

ISBN 978-5-4241-1594-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М. Горький, 2021

Горький Максим
Жизнь Матвея Кожемякина

М. Горький
Жизнь Матвея Кожемякина
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

По ночам, подчиняясь неугомонной старческой бессоннице, Матвей Савельев Кожемякин, сидя в постели, вспоминает день за днём свою жизнь и чётко, крупным полууставом, записывает воспоминания свои в толстую тетрадь, озаглавленную так:

"Мысленные и сердечные замечания, а также некоторые случаи из жизни города Окурова, записанные неизвестным жителем сего города по рассказам и собственному наблюдению".

Ниже, почерком помельче, приписано:

"Для чтения с доверием и для познания скорбной жизни уездного русского города".

Тетрадь лежит перед ним на косой доске столика-пюпитра; столик поставлен поверх одеяла, а ножки его врезаны в две дуги, как ноги игрушечного коня. С правого бока стола привешена на медной цепочке чернильница; покачиваясь, она бросает на одеяло тень, маленькую и тёмную, как мышь. В головах кровати, на высокой подставке, горит лампа, ровный свет тепло облил подушки за спиной старика, его жёлтое голое темя и большие уши, не закрытые узеньким венчиком седых волос. Когда старик поднимает голову на страницы тетради ложится тёмное, круглое пятно, он гладит его пухлой ладонью отёкшей руки и, прислушиваясь к неровному биению усталого сердца, прищуренными глазами смотрит на белые изразцы печи в ногах кровати и на большой, во всю стену, шкаф, тесно набитый чёрными книгами.

Сосредоточенно обращённый в прошлое взгляд старика медленно бродит в сумраке большой комнаты, почти не видя расплывшихся очертаний давно знакомых вещей, - их немного, все они грузные и стоят, точно вросли в пол. Простор комнаты пустынен, и сумрак её холоден.

За книжным шкафом - дверь, от неё к передней стене вытянулся ещё шкаф, тоже полный книг. Два окна плотно закрыты ставнями, в простенке - старинное овальное зеркало в золотой фигурной раме, под зеркалом диван, перед ним стол с выгнутыми ногами, а на столе - старинная библия в коже; блестит серебро её застёжек. Около стола растопырились кресла в чехлах из парусины, на полу - толстая серая кошма. В переднем углу за кроватью - тройной киот, в нём девять икон. Задумчиво потрескивая, горит хрустальная лампада на серебряных цепях, освещая сверху ласковые лики Иисуса, богородицы, Ивана Крестителя, в середине - Николая Чудотворца, Не рыдай мене мати и Василия Блаженного, а в нижнем ряду образа Кирилла и Мефодия, Антония и Феодосия и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы.

Над постелью, в рамках из сосновых шишек, - две фотографии: кабинетный портрет молодой женщины с кудрявым ребёнком на коленях, - обе фигуры расплылись и подобны отражению в текучей воде.

Матвей Кожемякин долго, не мигая глазами, смотрит на портреты, потом, крестясь, тихо шепчет:

- О, господи многомилостливый! Продли дни моя для ради завершения дела любви моя и совести!

И, осторожно омакнув перо в чернильницу, покорно склоняя голову, он не

спеша, чётко пишет в тетрадке:

"Оканчивая воспоминания мои о жизни, столь жалостной и постыдной, с горем скажу, что не единожды чувствовал я, будто некая сила, мягко и неопутимо почти, толкала меня на путь иной, неведомый мне, но, вижу, несравнимо лучший того, коим я ныне дошёл до смерти по лени духовной и телесной, потому что все так идут. Но не понял я вовремя наставительных и любовных усилий жизни и сопротивлялся им, ленивый раб, когда же благодатная сила эта всё-таки незаметно овладела мною - поздно было. Вкушая, вкусих мало мёда и се - аз умираю".

Тишина в комнате кажется такой же плотной и серой, точно кошма на полу. С воли чуть слышно доносятся неясные звуки боязливой и осторожной ночной жизни города, они безличны и не колеблют ни устоявшейся тишины, ни мысль старика, углублённую в прошлое.

Он чувствует себя одиноко стоящим в пустоте, у подножия высокой горы; с её вершины, покрытой тёмной тучей, он тихо и безвольно скатился сюда вот пред ним весь этот путь, - он мысленно прошёл его десятки раз.

Ему шёл седьмой год, когда мать его вдруг исчезла из дома: она не умерла, а просто однажды ночью тайно ушла куда-то, оставив в памяти мальчика неясный очерк своей тонкой фигуры, пугливый блеск тёмных глаз, торопливые движения маленьких смуглых рук, - они всегда боязливо прятались. Ни одного слова её не осталось в памяти сына.

Отец - человек высокий, тучный, с большой рыжей и круглой, как на образе Максима Грека, бородой, с красным носом. Его серые глаза смотрели неласково и насмешливо, а толстая нижняя губа брезгливо отвисала. Он двигался тяжело, дышал шумно и часто ревел на стряпуху и рабочих страшным, свистлым голосом. Матвей долго боялся отца, но однажды как-то сразу и неожиданно полюбил его.

Было это на второй день пасхи; недавно стаял последний вешний снег, от земли, нагретой солнцем, густо поднимался тёплый и душистый парок, на припёке появились прозрачные, точно кружева, зелёные пятна милой весенней травы.

Матвей, в розовой рубахе из канауса (персидская шёлковая ткань, из сырца или полусырца - Ред.), ходил по двору вслед за отцом, любуясь блеском солнца на лаковых голенищах новых сапог.

- Что-о, Муругой, - сказал отец, приседая на корточки перед конурой собаки, - что, пёс, скушно, а? Скушно?

Из круглого выреза конуры, грохнув цепью, вырвался Муругой, - отец крикнул, взмахнул рукой и окропил лицо сына тяжёлыми каплями тёплой влаги.

Прибежали люди, началась суета и шум, темнобровая, пышная стряпуха Власьева повязывала руку отца полотенцем, а он топал ногами, ругался и требовал ружьё. Гремя цепью, собака яростно металась, брызгала пеной и выла тоскливо, страшно.

Ширококорый и рябой дворник Созонт принёс ружьё, отец, опустясь на колени, долго водил стволом вслед за движениями собаки, целясь в её красную, влажную пасть, в жёлтые клыки, а Созонт глухо ворчал:

- Не надо бы...

Бухнул выстрел, отец, окутавшись синим дымом, покачнулся и сел, пегий

лохматый пёс встал на задние лапы, натянув цепь, зарычал, судорожно отирая передними овлажнённую кровью морду, потом свернулся набок, громко щёлкнув зубами. Толкнув собаку сапогом в морду, отец сказал Созонту:

- В глаза попало...

Власьевна, протягивая ковш воды, плачевно ныла:

- Савёл Иваныч, помой руку-то!

- Тебя тоже из поганого ружья пристрелить надо! - закричал отец, взмахивая здоровой рукой. - Говорил - не корми мясом! Сазан, иди, зови лекаря!

Он стал разматывать красное полотенце с руки, а Матвей, замирая от страха и любопытства, принял ковш из рук Власьевны и бросил его, налив себе воды в сапоги: он увидел, что из отверстия конуры выкинулся гибкий красный язык огня, словно стремясьлизнуть отцовы ноги. Но отец тотчас схватил собачий дом, опрокинул его и стал вытряхать горящую солому, под ногами у него сверкали жёлтые цветки, они горели у морды собаки, вспыхивали на её боках; отец весь курился серым дымом, фыркал и орал, мотая головою из стороны в сторону.

От едкого запаха тлеющей соломы и палёной шерсти у мальчика закружилась голова, он присел на ступени крыльца и, готовый плакать, со страхом ждал, что скажет отец, пристально смотревший на него, взвешивая пораненную руку на ладони здоровой.

А он вдруг подошёл, сел рядом и кротко спросил:

- Испугался, брат?

- Испугался.

- Ну, ничего! Я тоже испугался...

Матвей искоса поглядел на отца, не веря ему, удивляясь, что такой большой, грозный человек так просто, не стыдясь, говорит о своём испуге.

- Жалко мне, - сказал он, подумав.

- Собаку-то?

- Тебя.

- Ме-ня? - странно протянул отец.

- Огонь-то как на тебя. Как пыхнет! Он - откуда это?

- От пыжа. Знаешь - затычка в ружьё кладётся, пенька? (ПЕНЬКА волокна конопля, отделённые мочкою в воде, мятём в мялке, трёпкой и чёской от кострыги (кострики) или деревянистых частей и коры - Ред.)

Матвей тесно прижался к плечу отца, заглянув в его полинявшее лицо и отуманенные глаза.

- Больно болит рука-то?

Отец смешно оттопырил нижнюю губу, косо поглядел на руку и ответил новым голосом:

- Ничего. Левая.

До этого дня мальчик почти никогда не беседовал с ним так хорошо, и теперь у него сразу возникло желание спросить большого рыжего человека о множестве вещей. Между прочим, ему казалось, что отец неверно объяснил появление огня - уж очень просто!

- Тятя, у собаки есть душа?

- Ну, зачем ей! - молвил отец.

Помолчав, мальчик тихонько протянул:

- Ка-ак он на тебя фукнул, огонь-то!

Отец положил на голову ему тяжёлую мохнатую руку и необычно ласково заговорил:

- Жаль собаку-то! Девять лет жила. Ну однако хорошо, что она меня цапнула. Вдруг бы тебя, а? Господи помилуй!

Лицо его покраснело, рыжие брови сурово сдвинулись и опустились на глаза. Но это не испугало Матвея, он ещё ближе пододвинулся к отцу, ощущая теплоту его тела.

На двор вкатился маленький и круглый человечек, весёлый, одетый в смешную клетчатую хламиду и штаны навыпуск. Отец ушёл с ним в горницу, сказав:

- Ты не ходи, Мотя, тебе не к чему глядеть на кровь...

Оставшись на крыльце, мальчик вспомнил, что, кроме страха перед отцом, он носил в своей душе ещё нечто тягостное.

Вскоре после того, как пропала мать, отец взял в дом ласковую слободскую старушку Макарьевну, у неё были ловкие и тёплые руки, она певучим голосом рассказывала мальчику славные жуткие сказки и особенно хорошо длинную историю о том, как живёт бог на небесах:

Сидит грозен бог на престоле златоогненном,
Предстоять ему серафими, херувими, светли ангели,
День и ночь всё поють они да славу богу вечному.
А как просить царя-то небесного о милости грешникам,
Со стыда в очи грозные, божий, поглядеть не решаются...

Когда она напевала эту песнь - её чёрные, добрые глазки блестели мелкими, как жемчужинки на ризе иконы, слезами.

Но, прожив месяца три, она была уличена Власьевной в краже каких-то денег. Тогда отец, Созонт и стряпуха положили её на скамью посредине кухни, связали под скамьёю маленькие руки полотенцем, Власьева, смеясь, держала её за ноги, а Созонт, отвернувшись в сторону, молча и угрюмо хлестал по дрожавшему, как студень, телу тонкими прутьями.

Макарьевна бормотала, точно водой захлёбываясь:

- Батюшки, помилуйте! Не виновата я перед господом... не виноватую... у-у...

- Сыпь, Сазан! - покрикивал отец, стоя у печи и крепко держа Матвея за руку.

А Власьева, подмигивая на дворника, говорила:

- Гляди-ко - стыдится, морду-то отворотил как, а, мамоньки!

Матвей хотел попросить отца не сечь старуху, но не решился и горько заплакал.

- Будет! - сурово крикнул Кожемякин.

Тот день вечером у постели мальчика сидела Власьева, и вместо тихих сказок он слышал жирные, слащавые поучения.

- Надо быть умнейшим, тятеньку жалеть да слушаться, а ты от него по углам прятаться - что это?

Потом явилась дородная баба Секлетя, с гладким лицом, тёмными усами над губой и бородавкой на левой щеке. Большеротая, сонная, она не умела сказывать сказки, знала только песни и говорила их быстро, сухо, точно сорока стрекотала. Встречаясь с нею, отец хитро подмигивал, шлёпал ладонью по её широкой спине,

называл гренадёром, и не раз мальчик видел, как он, прижав её где-нибудь в угол, мял и тискал, а она шипела, как прокишее тесто.

Власьева плакала, грозилась:

- Уйду! Еретик...

Но ушла Секлетя.

В тот день, когда её рассчитали, Матвей, лёжа на постели, слышал сквозь тонкую переборку, как отец говорил в своей комнате:

- Ну, чего орала да куксилась, дура толстомытая?

- Дорогуша ты моя, сердечная, - слашаво ныла Власьева.

- Не лезь. Думаешь, не всё равно мне, какая баба? Не о себе у меня забота...

- Да уж я ли Мотеньке не слуга...

- Ему мать надобно...

Мальчик завернулся с головою в одеяло и тихонько заплакал.

Но теперь ему хотелось забыть, как секли ласковую старушку, а разговор отца с Власьевой хорошо и просто объяснял всё неприятное и зорное:

"Это он - для меня..."

Отец выглянул в окно, крикнув:

- Моть, иди чай пить!

Пили чай, водку и разноцветные наливки, ели куличи, пасху, яйца. К вечеру явилась гитара, весёлый лекарь разымчиво играл трепака, Власьева плясала так, что стулья подпрыгивали, а отец, широко размахивая здоровой рукой, свистел и кричал:

- Делай, ведьма! Моть - поди сюда! Любишь, стало быть? Эх, мотыль мой милый, монашкин сынок! Не скучай!

Он дал сыну стаканчик густой и сладкой наливки и, притопывая тяжёлыми ногами, качая рыжей, огненной головой, пел в лицо ему удивительно тонким и смешным голосом:

Вот во поле, на лужку

Стоит бражка в туюску,

Она пьяная - хмельная,

Крепче всякого вина...

Матвею почему-то было жалко отца; ему казалось, что вот он сейчас оборвёт песню и заплачет.

- Марков - подкладывай огня! Ох, ты! Крутись! - командовал отец.

Коротенький лекарь совсем сложился в шар, прижал гитару к животу, наклонил над нею лысую голову, осыпанную каплями пота; его пальцы с весёлою яростью щипали струны, бегали по грифу, и мягким тенорком он убедительно выговаривал:

И поп - помрёт,

И солдат - помрёт,

Только тот не помрёт,

Кого смерть не возьмёт!

- И-их! - визжала Власьева, отчаянно заламывая руки над головой.

- Марков! - вопил отец. - Гляди, а? Это ли не зверь, а?

- Холмы-горы! - отзывался лекарь, брызгая весёлым звоном струн, а Матвей смотрел на него и не мог понять - где у лекаря коленки.

Вдруг явился высокий, суровый Пушкарь, грозно нахмурил тёмное бритое

лицо и спросил хриплым голосом:

- За что Муругого убили, беси?

Отец поднял завязанную руку, махая ею.

- Видал? Сустав с мизинца - напрочь! Марков ножницами отстриг. Садись, служба!

- Ещё башку тебе отстригут, погоди! - предупредил солдат, усмехаясь и взяв Матвея за руку.

- Айда спать!

Через несколько дней, в воскресенье, отец, прийдя из церкви, шагал по горнице, ожидая пирога, и пел:

От юности моея

мнози борют мя страсти,

Но сам мя заступи

и спаси, спасе мой!

Со двора в окно, сквозь узорные листья герани, всунулось серая голова Пушкаря. Он кричал:

- Опять кощунишь, Савёл? Опять носам?

- Поди прочь! - сказал отец, не останавливаясь.

- Я те говорю - осанна заступи! Осанна, а не - носам!

Отец подошёл к окну и, ударив себя кулаком в грудь, внушительно заговорил:

- Сам! Понимаешь, старый чёрт? Не я, а - бог! Но сам...

В окно полился торжествующий рёв:

- Ага-а, запутался, еретик! Я - не я, сам - не сам...

- Уйди!

- Осанну господню не тронь...

- У-ух! - взвыл Савелий Кожемякин и, схватив обеими руками банку с цветком, бросил её в голову Пушкаря.

Это вышло неожиданно и рассмешило мальчика. Смеясь, он подбежал к окну и отскочил, обомлев: лицо отца вспухло, почернело; глаза, мутные, как у слепого, не мигая, смотрели в одну точку; он царапал правой рукою грудь и хрипел:

- Господи! Иисусе... Иисусе...

Матвей выскочил вон из комнаты; по двору, согнув шею и качаясь на длинных ногах, шёл солдат, одну руку он протянул вперёд, а другою дотрагивался до головы, осыпанной землёю, и отряхал с пальцев густую, тёмно-красную грязь.

Матвей кинулся в амбар и зарылся там в серебристо-серой куче пеньки, невольно вспоминая жуткие сказки Макарьевны: в них вот так же неожиданно являлось страшное. Но в сказках добрая баба-яга всегда выручала заплутавшего мальчика, а здесь, наяву, - только Власьевна, от которой всегда душно пахнет пригорелым маслом.

На дворе раздался голос отца:

- Я вас, деймоны, потаскаю в амбар, запру и подожгу! Доведёте вы меня! Матвей! Мотюшка!

Вздрагивая от страха, мальчик выбрался из пеньки и встал в дверях амбара, весь опутанный седым волокном. Отец молча отвёл его в сад, сел там на дёрновой скамье под яблоней, поставил сына между колен себе и невесело сказал:

- Ну, что ты испугался? Пугаться вредно. Какая твоя жизнь будет в испуге да

в прятышках? Не видал ты солдата пьяным?

- Ты ему голову разбил! - тихонько напомнил мальчик.

- Эка важность! На службе его и не так бивали.

Он долго рассказывал о том, как бьют солдат на службе, Матвей прижался щекою к его груди и, слыша, как в ней что-то хрипело, думал, что там, задыхаясь, умирает та чёрная и страшная сила, которая недавно вспыхнула на лице отцовом.

- Ты его не бойся! - говорил рыжий человек. - Он это так, со скуки дурит. Он ведь хороший. И дерутся люди - не бойся. Подерутся - помирятся.

Он говорил ласково, но нехотя, и слова подбирал с видимым трудом. Часто прерывая речь, смотрел в пустое небо, позёвывая и чмокая толстой губой.

Жадно пили свет солнца деревья, осыпанные желтоватыми звёздочками юной листвы, тихо щёлкая, лопались почки, гудели пчёлы, весь сад курился сочными запахами - расцвела молодая жизнь.

- Спать хочешь? - грустно спросил Матвей.

- Нет, это так, от скуки зевается. В праздники всегда скушно.

- Ты и в будни часто про скуку говоришь.

- А и в будни не больно весело! - Кожемякин крепко стиснул сына коленями и как будто немного оживился. - Прежде веселее было. Не столь спокойно, зато - веселее. Вот я тебе когда-нибудь, вместо бабих-то сказок, про настоящее поведаю. Ты уж большой, пора тебе знать, как я жил...

- Расскажи сейчас! - умильно попросил Матвей.

- Можно и сейчас! - подумав, молвил отец. - Вот, примерно, ходил я с отцом - дедом твоим - на расшиве, бечевой ходили, бурлаками, было их у нас двадцать семь человек, а дед твой - водоливом. Мужик он был большой, строгий, характерный...

Савелий Кожемякин прищурил глаза, крикнул и недоверчиво оглянул светло-зелёные сети ветвей.

- Предметы-те, Мотяй, всё больно сурьёзные, не уложатся они в малый твой разум! - проговорил он, сомнительно разглядывая сына. - Погодить, пожалуй, надо нам беседы-то беседовать...

- Нет, ты, тятя, сейчас! - настаивал мальчик, отводя рукой бороду отца.

- Чекотно? - усмехаясь спросил Савелий. - Вот и мне тоже чекотно, как про старое-то вспомню.

Подумав, он плавно начал:

- Ну, - были мы люди костромские, жили на Ветлуге, в уголку, между двух рек, Ошмы да Нишмы, место глухое, лесное, место уютное, человеку и всякому зверю удобное. В Ошме да Нишме окуньё водилось и головли здоровенные, - ловил я их - без числа много! Самый знаменитый окунь - он в Которосль-реке живёт, около Ростова Великого, - вот, брат, город хорош! Звон там в соборе особенный и крепость неодолима - ни татаре, ни поляки, ни даже сам Бонапарт не мог её взять! Храбрый был этот царь Бонапарт, умный был, Москву забрал и всю Русь, а тут - обошёл вокруг крепости ростовской, почесал переносицу, да и говорит генералам своим: "Нет, лыцари мои верные, айдате прочь! Этого города и нам не взять!" Это он обманул их. Тут, видишь ты, так было: покуда он на коне своём, один, ночью, вокруг крепости ехал, духовенство ростовское всё время, бесперечь, било в те кремлёвские колокола. А вылиты эти колокола из серебра,

кое много лет у нищих выменивалось: дадут нищему монету серебряную, а Ростов-город и выменяет её на медь. Конечно, и обманывали нищих, но колокола от того обмана не страдали, а, может, даже зазывней звонят. Вот этот звон и разбередил Бонапарту душу, подумал он о ту пору: "Всё я забрал, а на что мне? Детей нету". Дети у него поумирали в то время. Так и остался Ростов не тронут... Ну, про окуней теперь: окунь, братец ты мой, рыба жадная да хитрая, и ловить её надо умеючи. Пошли мы однажды с отцом на Ошму, по окуня; идём лесом, темно, - вдруг навстречу нам сельца Болотина барин шагает, с ружьём, с сумой охотничьей. Отец - дед-от твой - шепчет мне: "Лезь в кусты!" Ну, сунулся я, притаился...

Кожемякин крикнул, замолчал и снова хмуро оглянул весь сад, посмотрел на главы монастырской церкви. Мальчик, тихонько расчёсывая пальцами густую бороду отца, нетерпеливо толкнул его локтем в грудь.

- Говори-и...

- Ну, - продолжал тот тихо и задумчиво, - вот, значит... После этого дедушка твой сбежал в Рыбный, в бурлаки...

- А барин? - спросил Матвей.

- Барин, - он так и того, - неохотно ответил Кожемякин, глядя в небо. - Тогда, брат, барин что хотел, то и делал; люди у него в крепостях были, лишённые всякой своей воли, и бар этих боялись пуще чертей али нечисти болотной. Сестру мою - тёткой, стало быть, пришлось бы тебе...

Большой рыжий человек вздохнул и, как бы жалуясь, молвил:

- Вот и опять... тут как только вспомнишь что-нибудь касательно жизни человеческой, так совсем невозможно про это ребёнку рассказать. Неподходящее всё... Ты иди-ка, посиди у ворот, - а я тут вздремну да подумаю...

Он разжал колени и легонько, заботливо отодвинул сына в сторону.

У ворот на лавочке сидел дворник в красной кумачной рубахе, синих штанах и босой. Как всегда, он сидел неподвижно, его широкая спина и затылок точно примёрзли к забору, руки он сунул за пояс, рябое скучное лицо застыло, дышал он медленно и глубоко, точно вино пил. Полузакрытые глаза его казались пьяными, и смотрели они неотрывно.

На все вопросы Матвея он неизменно отвечал:

- Не знаю. Кто его знает? Никто этого не знает...

Но иногда он, как будто совершенно опьянённый, начинал бормотать приглушённым голосом непонятные слова:

- Теперь - на дорогу бы выйти. Хохлы - они зовут дорогу - шлях. Шляются люди. Ежели всё прямо идти - куда придёшь в год время? Неизвестно. А в пять годов? Того пуще. Никто ничего не знает. А - сидят.

Потянувшись, он долго и пристально смотрел на свои ноги, словно не понимая, зачем они ему, а потом из его рта снова ползли одно за другим тяжёлые сырые слова:

- Во Пскове один человек говорил мне - я, говорит, шесть тыщ вёрст прошёл. Ну, что ж, говорю? Ничего, говорит. Видно, говорю, нет земле краю? Неизвестно, говорит. Потом - рубаху у меня украл.

Опять молчал, мысленно уходя куда-то, и, неожиданно толкнув Матвея, говорил:

- Ежели бы до морей дойти, - до предельных морей, которые без берегов лежат.